



## 1.

*Огненные птицы с золотыми лицами  
Ходят по карнизу, сбрасывая снег.  
Щёлкают клювами: «Дай испить  
водицы нам... »,  
Просят к девочке на ночлег.*

...Вот тебе два письма, о которых я забыла напрочь, пока случайно не отыскала их в ящике письменного стола, не моего, чужого, в дальней комнате нашего с тобой дома у оврага.

В эту комнату мы с тобой входили очень редко — и то для того, чтобы поставить на полки вдоль стен книги, которым нигде не нашлось места и которые почему-то не поднималась рука выбросить... Что значит выбросить книги? Это как маленькая смерть внутри тебя самого... Пока несёшь их к мусорным ящикам во дворе — тихая музыка внутри тебя, а в ней — не надо, остановись, молю... и слегка щемит, потому что музыку сложно различить, ведь ты почти бежишь к этим мусорным ящикам и шаги заглушают её...

И ты уже совсем не помнишь, почему этот дом с садом почти в черте города мы стали называть *домом у оврага*... Ты думаешь, что это игра. Да, это игра, как вся наша жизнь, потому что жизнь без игры была бы плоской и лишённой внутреннего смысла. Никогда не верь тем, кто говорит, что мы с тобой заигрались. У них своя жизнь, у нас — своя... Мы можем написать про них, если захотим, можем нарисовать их, можем придумать про них всё что угодно, а они не поймут нас никогда... Пусть трясутся себе, держась за поручни в своих электричках метро, когда едут на работу в восемь утра... Они ничего не знают про нас, просто сделали однажды свои чёрно-белые выводы, но ты не бойся, они ничего к нам не испытывают, кроме редких всплесков злобы и равнодушия...

Тем, кто будет читать в метро, на автобусных остановках, на кухнях, чтобы потом раздражённо выбросить в помойные ящики ваших глухих дворов, скажу коротко: меня зовут Варя. Там, на обложке, написана моя фамилия. И совсем не важно сейчас, сколько мне лет. Таких, как мы, не очень много, но, к счастью, гораздо больше, чем бы вам всем хотелось... Иногда мы узнаём друг друга, а иногда, заразившись вашей равнодушной спесью, можем пропустить... От этого горько...

Но я вернусь к *дому у оврага*. Ты пойми раз и навсегда и не забывай: мы — люди игры. И наш дом у оврага — это возврат в прошлое. В прошлое счастье. Я специально привезла сюда старые вещи. Все они в дальней комнате. Все они настоящие, ты же знаешь... Никогда не выбрасывай книги, и тогда твои руки никогда не осквернят плохие книги, они просто к тебе не попадут. Отдавай их только тем, кому они по-настоящему нужны, а не для того, чтобы заполнить паузу.

Когда я перечитываю эти письма, я возвращаюсь в прошлое, не слезливой памятью, а почти что плотью и кровью, и это — часть моей игры, которую я затеяла когда-то давно, для того, чтобы как-то расшевелить ваш скудный монохромный мир, чтобы вы смутно догадались: *бывает по-другому*...

— *Что ты возьмёшь с собой, девочка Коломбина? —*  
*внезапный вопрос пролетавшего мимо.*

*Она оглядывается с мольбой:*

— *Мои с картинками детские сказки,*  
*Злое, заточенное перо*  
*И тюбик красной краски,*  
*Украденный у Пьеро.*

«... что сказать тебе про мои стихи? — писала Варя бабушке когда-то очень давно. — Это не стихи даже, да и я — не поэт... Я чувствую всё их несовершенство. Они, скорее, как следствие прозы, которую я пишу, как следствие того, что я пишу вообще. Особенно то стихотворение про книгу Клоделя... В поэзии я гостя. Но в прозе... я хочу, чтобы ты поняла, что я сейчас скажу... Как бы я не ошибалась и не заблуждалась, как бы не отскакивала в страхе, заглянув в бездну... — помнишь, ты рассказывала мне, как вы детьми играли над обрывом, а когда темнело вечером, он казался пропастью, и вы все по очереди подбегали к краю, заглядывали, пугаясь темноты и сразу же убегали... И ты ещё говорила, что среди вас был смешной маленький мальчик и что он всё время думал. Его звали Африкан, а его фамилия была Асташкин? Он боялся с вами бежать. И когда вы смеялись, он отвечал вам: «Не хочу пропасть в пропасти...» Тогда вы бежали бояться без него, а потом возвращались и рассказывали про чудовищ, живущих на дне. Ты потом сама вспоминала не раз, что очертания камней на дне оврага походили на косматых чудовищ сна, сгрудившихся в кучу... А вечерами вы сидели с Африканом, и он обнимал тебя за шею своими маленькими руками, и вы шёпотом, чтобы не услышали его братья и сёстры — потому что он был тринадцатым в семье, но не самым последним, — говорили про этих чудовищ — как они живут и что думают и могут ли подняться со дна... — Так вот, как бы я ни блуждала во тьме, нащупывая слова,

их значения и ритмы, — в прозе я королева... Проза живёт во мне, а я в ответ — царствую в ней...»

### 3.

*Вам я шлю стихи мои, когда-то  
Их вдали игравшие солдаты!  
Только ваши, без четверостиший,  
Пели трубы горестней и тише...*  
И. Анненский.

«... Я понимаю всё, что ты хочешь сказать, и думаю, что понимаю всё, что ты чувствуешь... — писала бабушка в ответ. Письма, которые она присылала, были на удивление молодыми, с ясным округлым почерком, который легко прочитывался, сколько бы страниц она ни исписала. — Вернее, я бы хотела понимать всё то, что ты чувствуешь, чтобы всегда, в любую секунду твоей жизни поддержать тебя и чтобы тебе было к кому и куда обратиться... Твоя упоённость собой обоснованна. Когда много, хорошо и упоённо пишешь, тайны мира раскрываются или хотя бы называют себя... И тогда мир стягивается к тебе, начинает вращаться вокруг тебя, одновременно сужаясь... И дальше, Варя, будь очень внимательна: *ты притянула к себе только часть мира, малую его крупицу*. А мир намного больше... Следи за собой и за тем, что ты чувствуешь, очень внимательно... Если ты будешь слишком упиваться собой, своим восторгом от внезапных открытий, высокомерием обострившихся чувств и красоты, кажущимся превосходством и ощущением избранности, то ты ослепнешь от самой себя, и мир захлопнется перед тобой с громким стуком, как дверь на сквозняке.

Ты так и не спросила меня, что стало с Африканом Асташкиным, когда он вырос, и другими детьми из их огромной семьи. Мы переехали из дома над оврагом на другой берег Оби, и я ничего не знала о них. Мы были детьми, и между нами текла река. Обь? Да нет же... Стикс, наверное... Иногда мне снилось по ночам, что наш овраг, заросший

лопухами, в каждый из которых можно было завернуть Африкана, засыпают железные ковши, а страшные, скученные камни на дне поднимаются всё ближе и ближе, медленно шевелясь и меняя форму, стряхивая землю с себя, и уже давно стало понятно, что они — иное, не камни совсем... Иногда мне снился Африкан, как он сидит у меня на коленях, свесив ножки вниз, и тихо шепчет, не разделяя слова: «...не пропасть в пропасти...», засыпает, а всё шепчет, уже невнятно: «пр-пр», или я несу его на руках через двор по кромке оврага, а он прячет лицо мне в плечо...

Я встретила его во время войны, когда ему было 14 лет, и он уже сам мог приезжать на левый берег Оби в художественную школу... Не удивляйся, но Африкан Асташкин стал художником. Это стало понятным уже тогда, в его 14 лет... Я куда-то шла по Красному проспекту мимо старых домов, моя мама всё никак не могла привыкнуть к его теперешнему названию и по старинке называла Николаевским... И тут он, Африкан Асташкин, догнал меня и просто пошёл рядом, как будто бы мы расстались только вчера. На днях мне исполнилось 16 лет, стояли последние дни декабря, заканчивался 42-й год. Он очень вытянулся. Стал почти на голову выше меня. Я запомнила его огромные рукавицы, доставшиеся от кого-то из старших братьев, и валенки из белого войлока, ставшего грязно-серым. Я просто кивнула ему, потому что стоял самый настоящий сибирский мороз и было холодно говорить — дыхание влажно оседало на губах и тут же леденело. Он нёс большую картонную папку, и я не знала, куда он идёт, но почти сразу же поняла, что там рисунки. Его старшие сёстры, с которыми как-то летом мы плели гамак и пытались повесить качели так, чтобы в полёте были видны склоны оврага, работали теперь на военном заводе, а старшие братья ушли на фронт... С Красного проспекта он свернул в переулок. Он даже не предложил мне идти вместе с ним, это подразумевалось само собой, как если бы мы расстались только потому, что стало темно и нас позвали по домам. И тогда я поняла, что времени для него не существует... Я даже не видела его

глаз: из-под огромной треугольной шапки виднелась смешная нижняя часть его детского лица — нежный, почти девичий подбородок. Мы остановились перед воротами большого деревянного дома на несколько семей. Ты ещё помнишь эти бревенчатые дома? Так вот, их почти не осталось... Яркое светило декабрьское солнце, и чистый твёрдый снежок весело скрипел у нас под ногами и казался особенно белым, опрятным и сверкающим, потому что напитался золотыми потоками света. Снег так сиял, что глаза наполнялись слезами, но от мороза слёзы замерзли на ресницах. Африкан толкнул створку деревянных ворот, и она поехала со скрипом по утопанному снегу, и мы вошли во двор.

Во дворе на верёвках, обвязанных вокруг стволов деревьев, сушились простыни. Они обледенели на морозе. Несколько мальчиков строили снежную крепость. У них выходила довольно высокая стена с узкими окнами — бойницами. Девочка возила по кругу санки, в которых сидели две куклы и её маленький брат. Ей нравилось смотреть, как её валенки увязают в неглубоком снегу, оставляя овальные следы, и тянутся ровные полоски полозьев...

Мы вошли в дом. Нижняя часть лица Африкана широко разубалась под треугольной шапкой, которую он тут же снял, открывая побритую голову и тёмно-голубые глаза. Он снял пальто и какие-то толстые вязаные кофты и выпрыгнул из огромных валенок, доходящих ему почти до колен. Всё это он проделал очень быстро, почти мгновенно, пока я медленно развязывала узел шали и расстёгивала пуговицы на шубе. Африкан остался точно таким же, каким был тогда, в доме над оврагом, только его тело очень выросло и удлинилось. Ему надоело смотреть, как я долго копаюсь. Он подошёл ко мне и, обхватив меня руками, поднял вверх и вытряхнул из валенок. Кисти его рук стали большими, худыми, с длинными, очень сильными пальцами в разноцветных, плохо отмытых пятнах краски.

Мы вошли в комнату с большим деревянным столом и длинными лавками, с чёрным венским стулом во главе.

— Никого нет, — сказал Африкан и с облегчением вздохнул. — А мы, вот, вовремя...

Это были первые слова, которые я услышала от него.

Я села на лавку перед столом. Африкан развязал свою большую картонную папку и выложил из неё два рисунка. Я увидела, что рядом на столе лежат точно такие же картонные папки других учеников. Я хотела встать и посмотреть его рисунки, но он подошёл сам и совсем как в доме над оврагом сел ко мне на колени и обнял за шею своей длинной худой рукой. Он был даже не очень тяжёлым, но полностью закрыл меня. Моё лицо упиралось ему в спину, куда-то под лопатки.

— Африкан, — возмутилась я, — ты больше не можешь, как тогда, сидеть у меня на коленях...

Это были мои первые слова, которые я сказала ему.

— Пожалуй, ты права, — согласился Африкан. — Мне неудобно держаться. Я всё время съезжаю... Давай-ка лучше наоборот... — и посадил меня к себе на колени.

Так оказалось удобнее...

Он даже покачивал меня из стороны в сторону, как я его когда-то в детстве. И мне вдруг тоже показалось, что времени нет или что всё это время мы с ним не расставались.

— Почему тебя побрили налысо? — и я потрогала его голову, хотя я знала ответ.

— Чтобы зря не тратить керосин, — сказал он. — Вши завелись. А тебя? — и он точно также провёл руками по моей голове.

— Чтобы вши не завелись, — и я даже засмеялась тогда, потому что стало как-то спокойно. — Ну и мыло зря не тратить, когда моешься...

В комнату вошла женщина с горячей кастрюлей. Она сварила картофельные очистки и немного моркови. Следом за ней шёл мужчина в длинном коричневом свитере. Такие тогда не носили в Новосибирске. Мужчина и женщина были из ссыльных или эвакуированных.

— Я занимаюсь сегодня с самыми маленькими, Африкан, — сказал мужчина. —

Они пока играют во дворе. Но ты молодец, что пришёл... Мы сегодня рисуем твои любимые яблоки.

Африкан разволновался. Он аккуратно поставил меня на пол и встал рядом. И вдруг я увидела, что он ростом с мужчину в свитере, а я даже немного выше женщины, вошедшей в комнату. А ведь мы только что сидели друг у друга на коленях... Мне стало стыдно, но почти сразу же я отвлеклась.

Мужчина положил немного соломы на стол и накрыл её клеёнчатым платком с широкими кистями... И дальше... — ты поймёшь меня на словах, но, к счастью, никогда не почувствуешь того же, — шла война, и мы голодали, — мужчина высыпал прямо на расстеленный платок пять яблок. Ярких красных, с желтоватыми пятнами на бочках и зелёным разводом вокруг черенка. Невольно я шагнула вперёд и даже протянула к ним руку, но тут же одёрнула... И мне снова стало стыдно...

— Не ты первая, — сказал мне мужчина и грустно улыбнулся. У него было очень худое, измождённое лицо, как у многих тогда, и это не удивляло. Удивляли его глаза. Они казались очень добрыми и умными, как будто бы он всё заранее знал, и я сразу же перестала стыдиться и бояться. — Это яблоки для художников. Они из воска. Возьми по-смотри, — и он протянул мне одно.

На ощупь оно было почти как настоящее, твёрдое, но немного скользкое. И я даже понюхала его. Оно ничем не пахло. Я даже его незаметно лизнула, и тут же увидела на жёлтом блестящем бочке многочисленные следы зубов.

— Я всё знаю, девочка, — сказал мужчина, забирая у меня яблоко. — А сейчас мы немного поедим.

Мы сели с Африканом за стол, и вдруг он погладил нас по налысо остриженным головам точно так же, как мы только что гладили друг друга.

— Нужно позвать остальных детей...

Но они уже пришли сами: мальчики, строившие крепость, и девочка с маленьким братом и санками... Они смеялись и толкались, раздеваясь в сених.

Но вдруг на втором этаже раздались звуки пианино. Кто-то играл гамму.

— Там музыкальная школа, — сказал Африкан.

— А на третьем? — спросила я.

— На третьем у нас танцуют...

Дети расселись за столом на деревянных лавках, каждый перед своей папкой. Среди них были совсем малыши, меньше, чем мы, когда жили в доме над оврагом. Что они могли нарисовать?

Я сидела рядом с Африканом. Женщина обходила стол и ставила перед каждым тарелку. А я сидела и думала, поставит ли она тарелку передо мной. Ведь я же не учусь вместе с ними... Женщина поставила тарелку перед Африканом, и она оказалось последней. Больше у неё в руках ничего не было... Всё оборвалось внутри меня. Я поняла, что меня не покормят... Я уже писала тебе, Варя, мы голодали в войну. Целыми днями мысли крутились вокруг еды, а по ночам снилась горячая гречневая каша с молоком или простой чёрный хлеб с солью и побегами зелёного лука, поэтому простая возможность поесть приравнивалась к счастью...

Женщина, разносившая тарелки, подошла к мужчине. Он сидел на венском стуле во главе стола. Она что-то сказала ему на ухо. Он кивнул и отдал ей свою тарелку. Женщина тут же вернулась и поставила её передо мной. И я была счастлива. Я даже почувствовала, как всё внутри меня дрожит. А когда она налила мне в тарелку суп из картофельных очистков и жареной моркови, я закрыла глаза и дышала его запахом и только потом стала есть. Мужчина во главе стола обедать не стал. Просто молчал и смотрел на нас... Супа было мало, и поэтому ели мы недолго.

А когда закончили, мужчина сказал:

— Покажи всем, что ты принёс, Африкан.

И я снова увидела, что Африкан очень волнуется. Он взял оба своих рисунка, которые я так и не успела рассмотреть, и побежал к мужчине на венском стуле.

— Вот... — и положил перед ним. Он стоял, не зная, куда деть свои руки с плохо

отмытой краской, и ждал, что скажет мужчина. А тот переводил взгляд с одного рисунка на другой, как будто бы не знал, какой из них выбрать. Потом — надолго остановился на первом, а после — закрыл глаза, что-то обдумывая.

Дети вставали из-за стола и становились за его спиной полукругом, чтобы тоже посмотреть рисунки Африкана Асташкина. И я подошла вместе со всеми и встала за спиной их учителя, который, недоедая сам, пытался накормить всех детей и научить их всему лучшему, что умел... Больше всего на свете я бы хотела, чтобы у тебя, Варя, когда-нибудь был такой учитель.

— Очень хорошо, Африкан, — тихо сказал он. — Только в нижнем углу каждого рисунка напиши свою фамилию...

То, что он нарисовал, не укладывалось в понятие «хорошо». Это было гораздо больше, гораздо значительнее, чем простое «хорошо».

Я знала Африкана очень давно, гораздо дольше, чем кто-либо из присутствующих. Многие из этих детей уже родились после того, как мы переехали на правый берег Оби. На каждом его рисунке неподвижно застыли мгновения жизни, которой я когда-то жила и которую не забывала ни на миг.

Первый походил на офорты Гойи и назывался «Чудовища сна». Там были чудовища на дне бездны — химеры с крыльями и чешуйчатыми хвостами, с лягушачьими перепонками между пальцами и человеческими лицами. Я узнала их сразу же. Мы столько раз нашёптывали о них друг другу в летних сумерках.

— Это страхи темноты, — сказал Африкан. — Они становятся заметны в промежутке... когда ещё не спишь, но уже не бодрствуешь...

Как этот маленький мальчик, который по детской привычке уселся ко мне на колени, смог так выучиться рисовать, думать, говорить, пока мы росли по разные стороны Оби?

— «Когда разум спит, фантазия в сонных грёзах порождает чудовищ...» — сказал их учитель, прикрыв глаза, как будто бы что-то вспоминал.

Но Африкан не дал ему закончить:

— Франциско Гойя! — почти выкрикнул он и даже покраснел от смущения и нетерпения.

— Правильно, — кивнул их учитель и продолжил: «...Но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений...»

Два маленьких мальчишки за его спиной вытаращили глаза и, растопырив согнутые пальцы, нацелили их друг на друга. Это они изображали чудовищ сна со дна нашего оврага.

Африкан не знал, как назвать свой второй рисунок. Но когда я увидела его, мне почему-то захотелось уткнуться в плечо их учителя и горько заплакать. «Ушло... ушло... ушло...» — это было единственное слово, которое повторялось у меня в уме и стучало в висках, просто я не знала, как иначе выразить свои чувства.

— Ушло... — невольно сказала я вслух.

Их учитель сразу же обернулся ко мне:

— Что ушло? — с интересом спросил он.

— А разве вы не видите? — тут Африкан неожиданно подошёл ко мне и взял за руку, вернее, зацепил своими пальцами мои. Он так всегда делал раньше, когда хотел, чтобы со двора или от лопухов у оврага мы вернулись в дом. — Разве вы не видите, что это Рождество и ёлка для нас, вот только мы выросли и уже совсем не такие, как здесь... — и я показала на рисунок.

— Не вижу ничего плохого в том, что вы выросли, — сказал их учитель.

Самый высокий из детей едва доходил мне до плеча и был по грудь Африкану.

— Если бы они не выросли, — спросил кто-то из его учеников, — это означало бы, что они умерли?

— Это означало бы, что времени для них нет, — ответил их учитель.

... Первую ёлку в своей жизни я увидела в доме у Африкана. Как-то поздно вечером его мать пришла к моей и о чём-то спросила, та кивнула, улыбнувшись. Его мать взяла меня за руку, и мы молча пошли по длинному коридору к комнатам, в которых жила их семья. На мне было жёлтое фланелевое

платье с круглым воротничком, под которым моя мама, прежде чем меня отпустить, завязала маленький красный бантик. Она так и не смогла прицепить его к волосам, уже тогда меня очень коротко стригли. Мама поцеловала меня в лоб, и я увидела, что ей очень хочется с нами.

Когда мы вошли в комнаты Асташкиных, его мать приложила палец к губам и плотно закрыла дверь. Ставни на окнах были тоже плотно закрыты, чтобы никто не увидел нас с улицы. Я стояла в тёмной комнате и различала только длинный, с белой скатертью, стол, чем-то заставленный, и красную ширму в углу, за которой горел приглушённый тёплый свет и дрожали длинные тени.

— Все собрались, — ласково сказала мать Африкана и позвонила в маленький серебряный колокольчик, который показался продолжением её голоса.

— Сейчас, — ответил из-за ширмы их отец. И его голос тоже был как продолжение звона колокольчика, но гораздо более низкий.

Мои глаза стали постепенно привыкать к темноте: и вот я вижу, что все братья и сёстры Африкана сидят за столом, а сам он — на стуле спиной ко мне, и я облакачиваюсь об его стул... И тут он своими маленькими пальцами цепляется за мою руку и подвигается, чтобы я села на краешек стула... А его отец отодвигает ширму, а мать включает свет, и все мы замираем... Высокая, растопырив зелёные пушистые ветки в золотых, серебряных и разноцветных игрушках, среди которых были прозрачные ангелы с крыльями из настоящих перьев и стеклянными трубами, с зажженными свечами в блестящих подсвечниках стояла ёлка.

И все сразу засмеялись, принялись шутить между собой, толкаться, обниматься. Самые маленькие были смущены и поворачивались к большим. Африкан, как обычно, залез ко мне на колени и спрятал лицо у меня на плече. А потом их мать снова позвонила в серебряный колокольчик, и все замолчали. А их отец достал из нагрудного кармана маленькую красную книгу с золотым крестом и старыми промасленными

страницами и стал читать о рождении Христа. Позже я узнала, что это было «Евангелие от Луки»...

А потом всем раздали подарки. У меня оказался маленький позолоченный орех и такая же маленькая кручёная свечка в коробочке из тёмно-синего бархата... Эту коробочку со свечкой и орехом моей матери удалось поменять в самом начале войны на два куска хлеба, тонких, как твои пальцы.

На втором рисунке Африкана Асташкина были нарисованы дети, сидящие за столом. Придуманные дети. Никого из них я не могла узнать... Придуманные дети, да, конечно... И вдруг почему-то узнала себя по красному банту под воротничком... Лица детей сияли от праздника. Один малыш безмятежно улыбался, но его глазки сонно слипались, а голова тяжелела и клонилась на грудь, потому что в обычные дни в это время он давно спал... С правого края виднелась половинка лица матери с большим печальным глазом и робким, едва различимым фрагментом улыбки. Слевого — так же до половины шло лицо отца. Его светло-серый глаз, наоборот, был очень весел и даже по-заговорщически прищурен, а вот угол губ печально опускался вниз. И если сложить обе половинки лица отца и матери в одно лицо, то получался человек, которому было очень печально и, может быть, даже очень страшно, но сейчас в его душе воцарилась радость и торжество с такой силой, что страх и печаль казались неважными и исчезали, как тени, рассеивающиеся на свету... За спинами детей виднелись окна, наглухо закрытые ставнями, и на окнах — этого не было в жизни! — но здесь, на рисунке, на окнах висели замки.

И почти невозможно было рассмотреть, что стояло на столе, потому что на первый план из нижнего угла рисунка выходили ветки рождественской ёлки в маленьких свечках и звёздочках.

Мысленно я соединила замок на окне и край еловой ветки, и у меня вышла прямая линия, потом я соединила половинки лица отца и матери, и снова получилась прямая линия. При пересечении обе эти линии складывались в крест, в центре которого

находилась маленькая красная книга. Раскрытую книгу держали в руках девочка и мальчик и, по-видимому, читали вслух. На шее у девочки, как я тебе уже писала, был завязан маленький красный бант...

— Ты уже придумал название для композиции? — спросил их учитель.

— Сначала я думал: «Страх и счастье», — ответил Африкан. Он говорил очень ясно, даже как-то опрятно, как будто бы его учили не только рисовать и думать, а ещё и говорить. Но он волновался, я знала... — Но сегодня ночью понял, что счастье всё-таки намного важнее и сильнее страха, если вдруг наступает... Когда случится победа, мы перестанем бояться войны, ведь так? — их учитель кивнул. — И тогда я решил оставить в названии только «Счастье».

А потом все дети сели обратно на лавки вдоль стола и принялись рисовать восковые яблоки на клетчатом платке поверх соломы.

— Ты будешь рисовать? — спросил меня их учитель. — Дать тебе бумагу?

Но тогда чувства настолько переполняли меня, что не только рисовать — я почти не могла говорить.

Я только покачала головой:

— А можно мне только посидеть рядом с Африканом?

Зимнее солнце вливалось в окна прямо из прозрачного неба, стёкла сверкали, сливаясь с воздухом. Дети изредка переговаривались, рисуя: «Дай кармин...» — «У кого запасной уголь?» Рисовал и Африкан, вернее, что-то делал с бумагой, что на ней вдруг сначала как намёк, но потом всё достовернее проступали яблоки.

От горячего супа чувство голода неприлично притупилось и почти прошло. В комнате было жарко от натопленной печи, и я, уткнувшись головой в плечо Африкана, почти заснула... Я ведь совсем не думала тогда — мешаю я ему или нет и что, может быть, ему неудобно так сидеть, я только чувствовала, как тяжелеют веки и наступает покой. Я думала, что там, снаружи ясный ледяной мороз и колкий снег, а ещё дальше — война и страх, и что раньше, пока не было войны, был один только страх. Я чув-

ствовала его сквозь детство: по вечерам мы запирали окна и двери, потому что ночью «разъезжали «воронки», я точно не знала, что это такое, но знала, что нужно бояться. И ночью втайне праздновали Рождество не мы, а простоватая семья Асташкиных, и звали меня, потому что «...Рождество для всех... для всех детей...» — так объяснил их отец. А потом, наутро, нам строго наказали молчать, чтобы ночные «воронки» не остановились у нашего дома, где так много детей и почти совсем нет взрослых...

Ещё я думала, что здесь, в комнате, вокруг этого измождённого человека, точно так же, как и я, задремавшего на своём стуле, собрались маленькие голодные дети, у которых никогда ничего не было, кроме окриков и нищеты, а сейчас они рисуют и создают красоту, и всё это потому, что он, их учитель, смог объяснить им, что красота разлита в мире, и научил собирать её на листе бумаги... И что мне случайно показали этот удивительный мир, как когда-то показали Рождество... Я очень хочу в нём остаться, но, наверное, никогда больше не попаду туда, что меня позвали проститься... И вдруг наверху тоненько и нежно заиграла скрипка, как бы прощаясь — тягуче, жалобно... Это там у них, наверху, начался следующий урок... А я проснулась и медленно подняла голову с плеча Африкана... Солнце больше не било в окна. Сгустились сумерки. В комнате зажгли электрический свет. Их учитель по-прежнему сидел на своём месте во главе стола и ждал, когда остынет кипяток в гранённом стакане... Многие дети уже закончили рисовать и выложили свои работы в одну линию по краю стола, как будто бы это был бесконечно длинный прилавок рынка, засыпанный соломой и яблоками или что вдруг сюда, в жарко протопленную комнату, посреди зимы ворвался август, Преображение, и выложенные в церковном дворе яблоки на длинных столах ждут, когда на них прольётся святая вода...

Африкану было неудобно сидеть, но он старался не шевелиться, чтобы не тревожить меня. Свою работу он тоже закончил, и я, как будто бы мы снова были маленькие, протянула руку к рисунку и сказала:



— Я сейчас всё это съем...

И он тут же ответил:

— Только попробуй, — и засмеялся.

А я ловко выхватила его рисунок и побегала по комнате. Африкан тут же побежал за мной. Все остальные дети с удивлением смотрели на нас: мы были здесь самыми взрослыми.

Я встретила глазами с их учителем и остановилась. На улице стало совсем темно, и мне пора было уходить.

Я вышла в сени. Африкан вышел за мной, чтобы попрощаться. В сенях оказалось очень холодно, и я почувствовала, что снова погружаюсь в сон, и медленно принялась искать свою одежду. Африкан подошёл ко мне и снова, обхватив руками, поднял вверх и поставил в валенки. Так же, как когда мы только пришли.

— Вы по-прежнему празднуете Рождество? — шёпотом спросила я. — Справляете ёлки, совсем как тогда?

— Нет, — покачал головой Африкан, — мы больше не дети, и мы больше не плачем, если не сбываются наши мечты...

Я пришла в этот дом в конце 43-го, ровно через год... Я знала, что нужно прийти раньше, но всё откладывала и откладывала... Никогда не делай так, Варя, иначе потом будешь сожалеть...

Когда я вошла во двор, то увидела двух взрослых усталых людей, мужчину в телогрейке и беременную женщину, казавшуюся невероятно толстой из-за огромного живота. Мужчина докурил папиросу и принялся колоть дрова, а женщина железной лопатой разгребала снег перед входом в дом.

Я подошла ближе, но они даже не взглянули на меня: каждый из них был сосредоточен на своём.

Я спросила, где живут художники, но никто из них даже не повернул головы в мою сторону.

— Здесь была художественная школа, — сказала я, — а на втором этаже — музыкальная. А на третьем — танцевали...

Тогда мужчина опустил топор и угрюмо посмотрел на меня, а женщина так и продолжала разгребать снег...

Я обошла вокруг дома по пустому двору и не нашла ничего, кроме чёрного остова пианино, изрубленного на дрова...

И больше я никогда не встречала художника Африкана Асташкина. Я пыталась найти его или хотя бы его работы, но о нём никто ничего не знал...

И дальше в течение многих лет в минуты отчаяния я думала, что он умер от голода или от тифа, а в минуты счастья, если вспоминала о нём, то надеялась, что он просто поменял имя, как это часто бывает с художниками; ведь мы тогда смеялись над его именем, и он это знал...

Сейчас, в старости у меня очень много времени, чтобы всё обдумать, и я поняла, что раньше его не было, потому что я всё время спешила. Мне всё время казалось, что я должна бежать, потому что опаздываю на поезд, а этим поездом была моя жизнь...

Как жаль, что меня нет с тобой, детка моя! Я очень скучаю... Я бы, как когда-то давно, усадила бы тебя на колени, расчесала бы твои волосы, каждую прядку отдельно, заплела бы тебе две косички... Помнишь, как мы ходили покупать тебе ленточки в галантерее, когда я получала пенсию, и на тебе была синяя, с перламутровым отливом курточка? Ты оттянула её ткань двумя пальцами и, показав мне, сказала: «Кра-си-во-о...» Но всё это было так давно, что, наверное, не сохранилось в твоей памяти.

Наш дом над оврагом на левом берегу Оби снесли сразу же после войны.

Всё это я помню ясно, как случившееся вчера, а то, что произошло вчера, иногда забываю совсем.

Когда потеплеет, я собираюсь поехать в Академгородок к берегу Обского моря. Однажды мы приезжали туда с тобой, но песок ещё не прогрелся после холодов, поэтому я даже не могла позволить тебе разуться. И ты бегала в жёлто-зелёных сандаликах с плетеными ремешками, таких маленьких, что когда я брала твою ножку, она оказывалась меньше моей ладони.

Там, на берегу, днищем вверх лежали голубые деревянные лодки, наполовину

врытые в песок, и такие же голубые кабинки для переодевания покосились после зимы. Тебе нравилось прятаться от меня. Я делала вид, что не могу тебя найти и громко спрашивала: «Где же Варенька?» — хотя из-под кабинки виднелись сандалии в плетёных ремешках.

Тогда мне казалось, что само детство играет со мной на берегу сурового Обского моря и, смеясь, прячется от меня...

И ещё — помнишь вётлы, которые росли там на берегу и тянулись ветвями прямо в воду?

Я собираюсь ещё раз проведать этот берег и заодно посмотреть — не спилили ли их?

Мне хочется прочесть всё, что ты пишешь, всё, что ты считаешь возможным мне показать...

В моём Новосибирске скоро лето...»